

ХРОНИКА

Литература в СССР

Советская литература — явление сложное. Она тѣсно связана со всѣм происходящим в Россіи, и ея положеніе поддается отчетливому анализу почти так же трудно, как общее состояніе страны. Нерѣдко при мысли об этой литературѣ возникает опредѣленная схема, на первый взгляд будто бы и соответствующая ея развитію и судьбѣ. Но стоит в такую схему взглянуть внимательно, как обнаруживается условность и узость построения: если даже оно по своему и правильно, то ни в коем случаѣ не полно. Надо всегда помнить, что всѣ движенія и теченія советской литературы — как, в сущности, и всѣ процессы современной русской жизни вообще, — представляют собою результат столкновения или соприкосновения двух сил: власти и народа, режима и среды, произвола и творчества, — и что, если этой двойственностью пренебречь, выводы навѣрное окажутся фальсифицированными. И в Москвѣ, и у нас в эмиграціи к такому упрощенію замѣтна склонность, — правда, но діаметрально — противоположным причинам. В Москвѣ утверждают, что всѣ русскія настроенія и стремленія, в частности, настроенія и стремленія литературныя, проникнуты единством, — потому что власть и партія в совершенной точности и чистотѣ выражают волю страны. В эмиграціи до сих пор распространено убѣжденіе, что разрыв между властью и страной, так сказать, абсолютен, и что поэтому в советской печати подвизаются лишь лакеи или рабы, а люди, еще не окончательно утратившіе самостоятельности и человѣческаго достоинства, оказались из нея мало по малу исключены. По обѣим формулам можно было бы написать стройную с виду «исторію советской литературы»: в первом случаѣ это была бы исторія сотрудничества, исторія процвѣтанія всякаго рода литературных ростков под благодѣтельным руководством сверху, — вплоть до теперешняго періода ликованій,

восторгов и панегириков; во втором — история борьбы и сопротивления. Безспорно, в этой второй версии было бы много истинного — и, добавлю, трагического. Но далеко не все в советской литературе было бы при этом открыто, потому что далеко не все понято.

Нѣтъ возможности в коротком очеркѣ, посвященном преимущественно настроеніям и фактам послѣдняго времени, вернуться ко всему тому, что характерно для советской литературы на всем протяжении ея существованія. Одно замѣчаніе все-таки необходимо сдѣлать. Если об этом еще раз не напомнить, картина могла бы оказаться слишком искажена.

Упомянутое о живучести, о сопротивленіи литературы в СССР власти нерѣдко истолковывается, как указаніе на ея глубокую, тайную вражду к революціи. Нельзя ручаться, что такой вражды ни у кого из советских писателей дѣйствительно нѣтъ. Однако, в цѣлом, — гораздо замѣтнѣе все-таки тенденція к «углубленію», или, точнѣе, к распространенію революціонной догмы на всѣ области жизни, прежде всего на область моральную и этическую. Сопротивленіе вызвано надзором. Но даже читая между строк, даже додумывая брошенные вскользь намеки или расширяя какія-либо сопоставленія образов, т. е. пытаясь понять с полуслова то, что иначе сказано быть не могло, даже и при таком отношеніи к советской литературѣ — невозможно уловить в ней чего-либо реставраторскаго. То, что в Россіи произошло, ею принято, и ни пересмотру, ни переоцѣнкѣ не подлежит. Сочувствіе — в самых общих чертах — вызвано, очевидно «новыми горизонтами», перед страной открывшимися, ея широким оживленіем, толчком в ея нѣдра, наконец, «надеждами, трудами» по Пушкину. Да и не только этим: всякій государственный строй, даже неизмѣримо болѣе совершенный, чѣм былой строй русскій, требует от совѣсти или от нравственнаго чувства нѣкоторой еговорчивости, и в отвѣтъ всегда всякая революція вызывает смутное ожиданіе того, что разлад с совѣстью будет уничтожен. Скептики знают, что это мечтанія «несбыточныя». Но люди, которым в 1917 году было двадцать лѣтъ, скептиками не были и быть не могли.

И вмѣстѣ с тѣм, советскій період русской литературы есть поистинѣ період «страдальческой». Перед литературой, которая хотѣла остаться живой, стоял вопрос: что такое революція, к чему она обязывает, что она за собой вѣчет? — а для власти никаких

вопросов вообще не существовало и не существует, и во всяком случаѣ, прерогативу рѣшать их, буде они встрѣятся, она оставила за собой. Ни за что на свѣтѣ власть этой прерогативой не согласилась бы поступиться. Читателям разрѣшалось и разрѣшается мыслить, однако, лишь в границах частных, отдѣльных, преимущественно практически - строительных «проблем», — но никак не на общія темы. Борьба, сопротивление, проявленіе жизненной дѣйкости — все это было не борьбой против революціи, как многіе у нас склонны были бы предположить, а именно борьбой за мысль, за революцію творчески обращенную, борьбой за право участія в обдумываніи или уясненіи всего совершившагося и совершающагося. Власть возненавидѣла всякую мысль, отчасти, быть может, потому, что в природѣ всякой мысли кроется и сомнѣніе, — а сомнѣніе ей требовалось искоренить, «выкорчевать». Надо отдать ей справедливость: цѣли своей она достигла, и блестящая ея побѣда на этом своеобразном «фронтѣ» должна быть признана едва ли не самым показательным фактом для того, что дѣлается в совѣтской литературѣ сейчас.

Без всякаго преувеличенія, просмотр и чтеніе московских журналов в послѣднее время — занятіе удручающее. Назвать их пустыми было бы недостаточно: это не пустота, это какое-то коллективное утопаніе в счастьяѣ, в благодарности, в новой, невѣдомой остальному міру социалистической красотѣ! Для разнообразія тут же рядом обыкновенно преподносятся каннибальскія резолюціи по поводу раскрытія какого - нибудь очередного вредительства или полемическая перебранка, гдѣ спорящіе утруждают себя не столько обдумываніем и оттачиваніем доводов, сколько розыском сокрушающе ударных цитат. Споры часто бывають исполнены злобшаго, но неподдѣльнаго комизма, когда при апелляціи одного из спорщиков к Марксу, а другого — к Сталину, обнаруживается «неувязка», — причем ни тот, ни другой не рѣшаются, разумѣется, ее откровенно признать и ссылаются лишь на «отсутствіе діалектическаго подхода» у оппонента. При «діалектическом подходѣ» все можно сгладить. Вмѣшивается какой - нибудь особоавторитетный товарищ и раз'ясняет, что Сталин развил идеи Маркса глубже и смѣлѣе кого бы то ни было, а оба наши антагониста — просто головотяпы или даже диверсанты. Не цитировали ли они десять лѣтъ тому назад Троцкаго? Не ссылались ли еще недавно на Бухарина? Мгновенно настает тишь да гладь.

О том, что происходит на поверхности советской литературы знают, вырочем, всё. Не стоит на этом долго задерживаться. Состязания в из'явлении в'рнопопданнических чувств «Элбрусу человечества» (честь изобр'тении этого титула принадлежит, если не ошибаюсь, поэту П. Тихонову), самокритическія покаянія в дух' унтер-офицерской вдовы, патетическіе призывы к бдительности и безопадности — все это не должно бы отвлекать вниманія от явленій бол'е существенных, хоть и мен'е зам'тных.

В 1932 году было издано в Москв' знаменитое, «всемирно - историческое» постановление от 23 апр'ля о роспуск' РАИШ-а. Практически это м'броп'рятіе означало поб'ду Горькаго над Авербахом и признаніе за литературой права на какую-то, хотя бы самую скромную долю свободы. По московской терминологіи, 23 апр'ля было покончено с «администриваніем в литератур'». На первых порах создалось настроеніе, врод' как посл' убійства Павла I. Писатели чуть ли не обнимались на улиц' от радости, а какой-то юморист писал даже, что «в воздух' от всеобщаго умиленія запахло вешеталем, медом, ч'м-то пр'ятным, чарующим до необыкновенности». Казалось, самыя трудныя времена — позади, и удовольствованіе было т'м бол'е явно, что оно совпадало с правительственными заданіями. Можно было радоваться открыто, законно. Радоваться было даже обязательно для вс'х, не желавших навлечь на себя подозр'нія.

23 апр'ля 1932 года было признано датой «всемирно - исторического значенія» тогда же. Но и до сих пор еще день этот считается в советской литератур' праздничным, и с него будто бы начался бурный, творческий под'ем. Паденіе Авербаха (котораго, кстати сказать, теперь считают троцкистом, хотя именно Троцкий дал ему характеристику: «юркое ничтожество») вызвало, в'роятно, радость искреннюю. Едва - ли однако в шави дни хоть один безпристрастный человек сохранил иллюзію, будто постановленіе это послужило литератур' на пользу и ч'м - либо положеніе ея улучшило. Не касалось сейчас результатов «чисто творческих»: офиціально возв'щеннаго, но мифического потока «полноц'нных художественных созданій». Остановлюсь именно на положеніи, — т. е. на вопрос' о том количеств' свободы, которым писателю дано пользоваться.

Авербах был человек'м с диктаторскими замашками, капризный, до нельзя самоув'ренный, с ч'м-то схоластическим в обра-

зѣ мыслей. Конечно, если бы в самом дѣлѣ вся та власть, которую он имѣл, перешла к Горькому, радость была бы основательна. Помню, в частной бесѣдѣ, один из прїѣхавших из Москвы писателей говорил лѣтъ восемь тому назад — тогда, как это ни кажется теперь невѣроятным, заѣзжіе москвичи еще иногда откровенно бесѣдовали с эмигрантами, — что паденіе Авербаха было бы для литературы и желательно, и вмѣстѣ с тѣм опасно. Опасно потому, что Авербах, держащій все в своих руках, отгораживает литературу от иных вліяній и воздѣйствій, которыя могут оказаться хуже, а, главное, могут быть неумовны и анонимны. Авербах плох, но по крайней мѣрѣ он один, а послѣ него еще неизвѣстно что будет... Предчувствія были основательны. Горькій мог бы «отгородить» литературу лучше Авербаха, но сдѣлать он этого не пожелал или не сумѣл. Горькій по всей вѣроятности и не понял, что пока в странѣ существует диктатура общая, — да еще такая, как сталинская, — диктатура частная над литературой может при извѣстных условіях быть предпочтительнѣе хаосу, который бросает ее на произвол первого встрѣчнаго доносчика, любого негодяя, любого пройдохи, стремящагося выслужиться. Писатели, кажется, падѣялись, что на него они могут положиться, как на каменную гору, и Горькій, принявъ уничтоженіе «администривація» всерьез, рѣшил и даже объявил, что для включенія в братскій и основанный на взаимном довѣрїи союз совѣтских писателей достаточно общаго сочувствія социализму в тѣх формах, в каких он насаждается в СССР, и грамотности. На грамотности он особенно настаивал, по старому своему пристрастію к культу ртрегерства и обращенію к азіатчинѣ. Не прошло и года, как Горькій, повидямо-му, убѣдился, к чему довѣрчивость привела.

Свободы не прибавилось, свобода исчезла окончательно. Ослабленіе надзора или цензуры не могло дать ничего хорошаго при наличіи незыблемаго государственнаго символа вѣры, который, к тому же, с каждым годом становился все болѣе двусмысленным или, правильнѣе сказать, безмысленным. Горькій на первых порах покрывал своим авторитетом то одного, то другого из своих младших собратьев, — правда, не отказывая иногда себѣ в удовольствїи и низвергнуть с высоты величія какую-либо знаменитость авербаховскихъ времѣн, напримѣр, Панферова. Но «юркія ничтожества» всѣхъ мастей и типовъ быстро сообразили, что при новыхъ порядкахъ имъ раздолье, какого раньше не было, и тутъ то и на-

чалаась та чудовищная ежедневная слѣжка, то поистинѣ стахановское по темпам и рвенію «выкорчевываніе» всяких стремленій сохранить хоть что-либо свое, началось все то, что дало теперь столь наглядные результаты. У многих из нас есть сейчас склонность идеализировать при сравненіи со Сталиным Ленина, — и сколько бы оговорок ни слѣдовало сдѣлать при такой идеализации, она все-таки кое в чем оправдана. Ленина, вѣроятно, просто на просто стошнило бы от теперешних московских газет и журналов. Не говорю уж о славословіях в честь «Эльбруса человѣчества», которых, он вѣроятно, не выдержал бы. Но и полная выхолощенность от какого бы то ни было идейнаго задора, при полнѣйшем удовлетвореніи таким первобытно - райским состояніем должна была бы его поразить.

В странѣ, гдѣ «общественное мнѣніе» приравнивает чуть ли не к государственному преступленію не только импровизацию в политических взглядах, но и самостоятельность в художественных оцѣнках *), должен был бы по крайней мѣрѣ существовать кодекс дозволеннаго и запрещеннаго. Было бы в таком случаѣ хоть извѣстно, за что укрыться! Было бы возможно, хоть в предѣлах этого кодекса, что-то говорить и развивать! Но оттого то в московской литературной печати и водворился «порядок, царствующій в пустынѣ», — если воспользоваться выраженіем Тацита, — что никто ни в чем не увѣрен, и всякій знает только то, что ни в чем увѣренным быть нельзя. Хорошо, если Сталин сказал, что Маяковский «лучшій, талантливѣйшій поэт нашей совѣтской эпохи!» Известно по крайней мѣрѣ, что Маяковского критиковать больше недопустимо: Маяковский канонизирован. Но стоит лишь отважиться в область, гдѣ нѣтъ столь же опредѣленных указаній свыше, как всякое сужденіе становится рискованным, — ибо может оказаться, во первых, что редактору «Правды» или другому, облеченному довѣріем лицу, оно не понравится, во вторых, — что в третьем томѣ Маркса, на сто пятьдесят седьмой страницѣ, восьмая строчка сверху, высказана мысль, противорѣчащая данной, в третьих,

*) Это вовсе не голосовное утвержденіе: сейчас в Россіи никто больше не может позволить себѣ сказать, что Маяковский, на примѣр, был слабым художником, или что Пастернак глубже его, или что Горькій — не первоклассный романист, или что-либо другое в том же родѣ.. Не касаюсь при этом вовсе дѣйствительных достоинств Горькаго, Маяковскаго и Пастернака. Но замѣчательно, что вкус регламентирован так же, как все другое!

— что то же самое сказал в какой-либо рѣчи очередной «диверсант», уже отпавленный на тот свѣтъ, в четвертых... Впрочем, всего невозможно ни перечислить, ни предвидѣть. Дѣйствует, вѣроятно, и то, что мыслить больше и глубже Сталина, писать лучше Сталина, никто в Россіи не считает себя в правѣ. Равняясь по «Эльбрусу», всѣ истинностремятся казаться обыкновенными скромными холмиками и отгнать величіе обще - государственной и обще - національной умственной вершины. Разумѣется, касаясь всего этого, мы затрагиваем вопрос о положеніи страны вообще и выходим из сферы вопросов литературных. Не могу все-таки не подчеркнуть того, насколько укрѣпилась при теперешнем интеллектуальном террорѣ боязнь о чем - либо судить и что - либо оцѣнивать. Характерный примѣр. Этой зимой в Москвѣ тянулась безконечная дискуссія о Союзѣ писателей и недостатках в его работѣ (к сожалѣнію, у меня нѣтъ достаточно мѣста, чтобы рассказать обо всем, что сами же члены союза сообщили для иллюстраціи уцѣлѣвшаго, хоть и принявшаго ниня формы «администрированія»). А. Фадѣев, извѣстный романист, автор «Разгрома» и «Послѣдняго из Удуге», помѣстил в «Литературной Газетѣ» от 28 января статью о союзных дѣлах, статью, гдѣ конечно, как и всѣ другіе высказывавшіеся, утверждал, что «никогда нигдѣ еще не было таких прекрасных условий для чудеснаго размаха творческой работы». Но мимоходом он подѣлился и кое - чѣм другим. Оказывается, в послѣднее время среди совѣтских критиков «выплыла довольно странная теорія».

«Оказывается, нельзя дать правильной оцѣнки художественному произведенію, если ты лично и досконально не знаешь с его автором. Почему так? А вот почему: оказывается, можно создать хорошее революціонное произведеніе, будучи двурушником, приспособленцем, врагом народа, создать его, так сказать, для маскировки. По этой теоріи наша критика, к примѣру, не может высказаться о міровой художественной литературѣ. Мало ли кто там пишет? Развѣ со всѣми презнакомимся!»

Фадѣев выступает против этой «странной теоріи». Он считает, что если бы критика приняла за критерій не «абстрактно - идеологическое качество, а цѣлостное художественное лицо» произведенія, то не произошло бы такого конфуза, как в случаѣ с драматургом Киршином, который до политическаго его разоблаченія ходил в полугеніях, а потом был сразу объявлен бездарно-

стью и пошляком. Не стану в туманныя соображенія Фадѣева вдаваться, сильно сомнѣваясь, кстати, чтобы его рецепты были полезны. Но один только фактъ возникновенія такой «теоріи», о которой он разсказал, краснорѣчиво свидѣтельствует о состояніи умов! Если от хорошей жизни не полетишь, то и такой теоріи от хорошей жизни не выдумаешь.

Союз писателей, руководимый В. Ставским, был призван к «перестройкѣ». Какая это по счету перестройка в исторіи совѣтской литературы? Двадцатая? Сотая? Во всяком случаѣ, навѣрное, — не послѣдняя. При том зіяющем противорѣчьи, которое существует между отвлеченным представленіем о счастливой, свободной и мощной словесности, — по Стецкому, «самой насыщенной идеями и самой передовой в мірѣ» — и реальным положеніем и реальными достиженіями этой невиданной литературы, требованія перестройки время от времени неизбѣжны! Надо же на кого — либудь взвалить вину за то, что на дѣлѣ все не так блестяще, как в идеалѣ. Надо же найти корень зла! Союз писателей, как отвѣтственная организація, и расплывается. Не к чему отрицать, что в нем дѣйствительно порядки неприглядные. Но бессмысленно на эти порядки ссылаться, как на главную причину всѣх бѣд.

В послѣдніе два года добрая половина совѣтских «литературовѣдов» была обвинена в «вульгарном социологизмѣ». Движеніе против вульгарнаго социологизма по существу представляет собой процесс родственнѣй тому, который в исторической наукѣ привел от Покровскаго к учебнику проф. Шестакова. Долгое время московскіе критики не способны были написать десяти страниц ни о ком из великих художников прошлаго, не начав болтать о «разложеніи средняго дворянства» или о «роли торговаго капитала». Жорж Фридман, француз, автор недавно вышедшей книги «От святой Руси к СССР» разсказывает, что толчком к пересмотру отношенія к исторіи был разговор Сталина с сыном об Англии: мальчишъ прекрасно разбирался во всѣх разложеніях, расхожденіях и товарообмѣнах, но не зналъ имени Кромвеля. Не знаю, говорил ли с кѣм-нибудь Сталин о литературѣ. Может быть и говорил. Однако, рѣшительным поводом к измѣненію взгляда на литературное прошлое была, повидимому, подготовка к пушкинскому юбилею. Если Пушкин всего лишь «продуктъ», да еще «враждебнаго нам класса», если Пушкин лишь «отображает» или выражает «чаянія

рабовладельческого дворянства», — кому он нужен и за что его чувствовать? В первый раз было в применении к истории литературы произнесено слово «народ», и наскоро была отыскана цитата из Ленина, доказывавшая, что Ильич относился к этому термину с гнившим презрением лишь до тех пор, пока им могло быть затупевано классовое расслоение. Накапунт создания безклассового общества понятие «народ» уместно и с марксистской точки зрения безупречно. У Блинского было взято истолкование пушкинской народности и украшено позднейшими, более приемлемыми, более «научными» вариациями на эту тему. Как правило, было принято, что к культурному наследию должно быть причислено лишь творчество тех писателей, которые понятие «народности» удовлетворяют. Обо всем этом с высоты учительской кафедры обстоятельно говорилось в «Правде» — в назидание тем, которые за товарно-обменом не разглядели ни «Евгения Онегина, ни «Мертвых душ». Прошло всего несколько месяцев, и вот та же «Правда» уже бьет тревогу: с поклонниками и исследователями «народности» нет больше сладу. Достаточно, чтобы писатель «страдал от царизма» и «любил родную страну», как он уже возводится в социалистические классики. «И Щербина — классик, и Розентейн — классик!» — довольно резонно изумляется «Правда», доказывая, что «вульгаризация в упрощенстве ничем не лучше вульгаризации в социологизме». Спор по существу для нас не Бог весть как интересен. Если о нем полезно упомянуть, то все с той же целью: для убедительности в изображении того, в каком состоянии находится в России литература и ее представители.

Однако, есть и связанное с увлечением «народностью» явление, которое существенно и важно само по себе, и которое, причиняя советским писателям, вероятно, немалые мучения, отличается именно той двойственностью, где и власть, и среда сказали свое слово. Не думаю, чтобы существовало сейчас что — либо сильнее тормозящее в СССР всякое творчество. Но не думаю, чтобы и правильно было при упоминании об этом явлении лишь пожать плечами и предаться обычным и стереотипным эмигрантским сарказмам. В революции многое противоречиво по природе. Не все ее задания, не все ее задачи могут быть сразу поняты и решены.

Начну с того, что съехала власть, и что в общих чертах у всех, вероятно, еще в памяти. Сталин отправился в театр, послушал оперу Шостаковича «Катерина Измайловна», ничего не понял.

возмущился, ушел до конца спектакля, — а через два дня в «Правдѣ» появилась статья «Сумбур, вмѣсто музыки». Статья эта была сигналом к походу против всякой новизны, против «трюкачества», против формализма, против всякой сложности, не сразу доступной, а в литературѣ преимущественно — против Пастернака. Поход принял необычайно широкіе размѣры и вызвал, повидимому, огромное волненіе в интеллигенціи, болѣе или менѣе причастной к искусству и литературѣ. Культ простоты был установлен «по большевистски», в порядкѣ правительственнаго предписанія.

В поступкѣ Сталина была безспорно доля самодурства. Как не понравилась ему музыка Шостаковича, так могли его возмутить и новый Моцарт или новый Вагнер, и «Правда» с одинаковой угодливостью объявила бы их музыку тоже сумбуром! Но вопрос, конечно, — не в личной оцѣнкѣ и не в поведеніи Сталина.

Вопрос гораздо глубже. Сталин, как давно уже было подмѣчено, всегда стремится, сонательно или безотчетно, наладить связь с вѣяніями времени, всегда маневрирует и ищет опоры в идущих снизу стремленіях, — и в данном случаѣ его раздраженіе оказалось в соответствіи с какой-то именно такой, поднявшейся из глубины волной. Оттого то споры о формализмѣ и вызвали столько интереса и столько ожесточенія.

Шостакович может быть превосходный музыкант, — как и Пастернак, навѣрное, подлинный и очень даровитый поэт. Невозможно, однако, не видѣть того, что оба они, как и вообще художники их склада, выросли и воспитались в духовной атмосферѣ, не имѣющей ничего общаго с той, которая должна была создаться в Россіи. Революція вѣдь была совершена не только для политических переменъ, но и для измѣненія во взглядах на жизнь, в самом ощущеніи ея! Шостакович и Пастернак несут с собой современное, западное (или продолжают довоенное, русское) обостреніе художественнаго воспріятія, индивидуалистическаго и очень узкаго. Они лишь в этой атмосферѣ способны дышать. Но если миллионы и миллионы людей, еще недавно не умѣвших ни читать, ни писать, теперь оказались «вовлечены в культурную жизнь», — то для того ли, чтобы им, этим людям, сразу, без всяких идейных и моральных предпосылок, пройденных европейским индивидуализмом, такое творчество могло быть дорого и понятно? Конечно, нѣтъ! Андрэ Жид, многое на эту тему писавшій и пришедшій в отчаяніе от низкаго уровня художественных требованій в Россіи, не

пожелал все-таки вдуматься в суть вещей и признать не только неизбежность, но и законность такого снижения. Культура? Да, культура с Шостаковичем — но в ином смысле, в иной плоскости культура и против Шостаковича! Если понятие культуры ограничить эстетически и эгоистически — она с ним всецело. Но если этому слову придать значение более широкое и глубокое, — в праве ли мы исключить из культуры понятие справедливости? Не одушевлена ли культура и нравственно? И не властно ли требует она от нас, чтобы мы поступались нашими уединенными, утонченными наслаждениями ради того, чтобы какое либо наслаждение могли получить и те, которые до сих пор его были лишены? Лев Толстой был человеком, знавшим толк в культуре, однако, «Что такое искусство» он написал не случайно и не напрасно, как бы ни были произвольны и фантастичны некоторые его приговоры и оценки. Конечно, Жид прав в своем отношении к тому, что в России преподносится под видом «простоты». Из громкоговорителей в Сокольниках несутся слащавые арии «Тоски» или цыганские романсы, на выставках на смеху доморощенным подделкам под Матисса и Пикассо появились реалистические картинки, озаглавленные «Утомленная рабочим днем колхозница» или «В гостях у т. Калинина», в журналах — рассказы того же рода и качества. Конечно, это искажение «общенародности», эта подмена передового западного искусства обывательщиной, эта неспособность дотянуться даже до бледного отражения какого-нибудь величия — прискорбны и жалки. Вкус в России испорчен, кажется, на долгие десятилетия. Сталин возмутился Шостаковичем для внешнего торжества Массне и Пуччини. Но за всем этим, как, — повторяю еще раз, — за многими, связанными с революцией явлениями, кроется не только каприз или тугодумность, а и порыв, достойный нашего внимания и общего сочувствия.

Однако, завладев этим порывом, прибрали его к рукам именно каприз и тугодумность, а вдобавок — и трусость, и малодушие. Страна в целом имеет право ждать возникновения искусства, которое отвечало бы ее способности понимания, ее состоянию, ее возрасту, ее неосознанным духовным тяготениям. Но это отнюдь не значит, что любой слушатель любых курсов имеет право публично и безапелляционно указывать Бабелю на неясность его идеологии и широкость его стиля, а делегация союза деревообделочников имеет право крикивать стихи Ильи Сельвинского с точки зрения

формы и настаивать, чтобы он писал «просто, как классики»... Если бы такія выступленія были единичны, если бы они разматривались как курьез, — большой бѣды не было бы! Но малодушіе в том то и сказывается, что всякій древообдѣлочник «а priori» признается всякой редакціей судьей болѣе компетентным, чѣм самый взыскательный критик, и писателям усиленно рекомендуется «учесть» указанія товарища такого - то. Товарищ такой - то смѣлѣет, проникается къ себѣ уваженіем — и, глядь, пишет уже не короткое письмо в редакцію, а длинную статью с разносом другой книги, и в статьѣ этой столько вздора, столько самовлюбленной «классовой» увѣренности, что ему, раз он от сохи или от станка, все должно быть ясно и понятно, столько самого настоящего наивного мракобѣсія, что руки опускаются. А Бабель с Сельвинским должны быть иногда близки к умножѣпательству или к самоубійству. Они, вѣроятно, смутно чувствуют, чего от них требуют эпоха и народ, но понимают и то, что никак эти требованія не могут совпасть с общедоступностью дурной и условной, потакающей читательской лѣни и сводящейся къ отказу от всякаго творческаго напряженія и усилія. А между тѣм вся литературная политика власти сейчас клонится къ утвержденію тождества между тѣм и другим, и даже сам Пушкин служит иногда ея цѣлям, в качествѣ мнимата союзника и духовной опоры Лебедева - Кумача и других «любимых массами» виршеплетов.

Так живут и работают сейчас в СССР писатели... Счерк этот не претендует на полноту. Для полноты и ясности параграфы мало было бы и сотни страниц! Касаясь преимущественно вопросов о положеніи совѣтской литературы в послѣднее время, я — как уже было сказано — принужден был обойти многія явленія, которыя увели бы нас в прошлое. Да вопрос о «положеніи» — вопрос вѣтшій по существу и отличен от вопроса о темах. Стоило бы когда-нибудь подробно побесѣдовать и о том, что осталось от тем, при том не только ранне-революціонных бунтарских, с палетом «мірового пожара», то есть таких, которыя не померкнуть и не исчезнуть не могли, но и от обыкновенных, средне-человѣческих. Соплюсь хотя бы на статью в юбилейном октябрьском номерѣ «Литературнаго Современника», гдѣ указывалось, что писатели страны побѣдоноснаго социализма должны брать в качествѣ персонажей «лучших, полноцѣнных передовых людей эпохи».

«Многіе романисты и критики еще ломают голову над тѣм.

как сочетать изображение исторических событий с раскрытием отдельных человеческих судеб. Иным эта проблема кажется неразрешимой. Между тем, речь Сталина и действие ее на слушателей основано именно на сочетании, на встрече истории и отдельной человеческой судьбы. Это показывает, что литература социалистического реализма разрешает все проблемы, которые были неразрешимы для буржуазных романистов».

Если вдуматься в эту короткую цитату, она окажется много замечательнее и ужаснее, чем на первый взгляд! В той же статье высмеивается Леонов, писавший когда-то в «Сочи» о героях этого романа, Увадиев: «в усиленной перегрузке себя работой думал он найти исцеление, а какая-то неутоленная частица его существа все жаловалась и скулила, как увертливая шелудивая собачонка».

Комментарий: — «Сейчас настало время великой переметы в жизни человечества. На одной шестой части земного шара создана счастливая прекрасная жизнь... В нашей стране идет великий процесс изживания раздробленности души, в нашей стране тысячами создаются характеры цельные, и резко определенные. Однако, некоторые наши писатели все еще считают, что для украшения героя, для придания ему наибольшего благородства и значительности, необходимо прикрепить к нему тоску и раздвоенность».

И так далее, и так далее. Культурное наследство усвоено — а, главное, понято — безусловно. Например, «Гамлет» или «Фауст».

Какие наиболее заметны — или наиболее показательны — вещи появились в советской литературе за последний год?

В плоскости «показательности» надо выделить два повести двух беспорно выдающихся писателей: «Хлеб» Ал. Толстого и «М. сын трудового народа» Вал. Катаева, — хотя показательны они по разному.

«Хлеб» имеет в России огромный официальный успех. Это почти идеальный образец официальной словесности, «в применении к текущему моменту». Нельзя себя представить произведения, к которому термин «заказ» мог бы быть отнесен в более точном и постыдном смысле слова. Сталин — герой повести, Сталин проявляет под Царицыном чудеса стратегической гениальности и большевистского мужества, изумленный Ленин восторженно аплодирует своему будущему преемнику, а бандит и предатель Троцкий только и думает, как бы лучше выслужиться перед германским ге-

неральным штабом. К счастью для революции, он настолько туп, что из его происков ничего не выходит.

«Я, сын трудового народа» Катаева — характерно с другой точки зрения. Никакого рабства в этой повести нет. Попадаются редкие прекрасные страницы, в особенности в начале. Но автор, повидимому, изо всех сил хотел дать вещь модно — простую, модно — народную, модно — патристическую — и выяснилось, что это далеко не так легко, как ему казалось. От простоты до лубка ближе, чем от великаго до смѣшного, а повесть Катаева именно лубок, что вродѣ лукутинской коробки с ухарами — солдатами и разурмянившимися дѣвками. Ни жизни, ни чувства, ничего, что придавало прелесть недавнему катаевскому созданию «Бѣллет парус одинокой...»

«На Востокѣ» Павленко — роман, вышедший года два тому назад, но остро — «актуальный» до сих пор, как самый яркий образец так называемой «оборонной тематики» в литературѣ: рѣчь идет о войнѣ СССР с Японией в 194...? году. Книга безспорно талантливая, но наводящая на сомнѣнія — есть ли большая разница между тѣм национализмом, который революція хотѣла уничтожить, и тѣм, который теперь, через двадцать лѣт насаждается снова? Должен ли он остаться таким же, даже перед лицом вѣщней опасности? Воистинный дурман, шапкозакидательство, пренебрежение к врагу. Один раз, в видѣ исключенія, добровольцы — критики из читателей оказались на наш взгляд правы: среди славословій роману Павленко в «Литературной Газетѣ» было помѣщено письмо группы каких-то «краскомов» с указанием, что оборонная словесность не должна быть обязательно выдержанной в нео-кузьмо-крючковском стилѣ, и что японцы едва ли дадут советским эскадрильям стереть Токио с лица земли так безпрепятственно, как это изображено у Павленко.

Пьеса Л. Леонова «Подовчанскіе сады»: вещь, как все и всегда у Леонова, тяжеловѣсно — задумчивая, внутренне — серьезная, нескладная, и одушевленная стремленіем сочетать несочетаемое: Ибсена и советскую дѣйствительность, вопрос о человеческом одиночествѣ и обязательный социалистическій оптимизм.

Наконец, Юрій Герман, пожалуй, самый даровитый из всѣх живущих в Россіи писателей революціоннаго поколѣнія. Его «Наши знакомые», прекрасно начатые и кое — как по казенному законченные, широко известны. Этой осенью в «Литературном Сове-

менникъ» появилось начало его новой повѣсти «Алексѣй Жмакинъ». Предложеніе было обѣщано на слѣдующую книжку журнала, но вышло уже послѣ того пять или шесть его номеров, а продолженія все нѣтъ и нѣтъ. Повидимому повѣсть «прекращена», как неподходящая, слишком вольная, и несторожному редактору указана необходимость этого свыше. Исключительно досадно, если это дѣйствительно так! Судя по первым главам, «Алексѣй Жмакинъ» произведеніе замѣчательное, проинвентуемое рѣдчайшим интуитивным пониманіем всего живого, безошибочным природным чутьем. Именно то, что иногда такія вещи все-таки попадаютъ в совѣтских журналах, и вызываетъ увѣренность, что литература вывернется, устоит, справится, и что в отчаяніе приходитъ нечего. Из тѣх двух сил, о которыхъ рѣчь была в началѣ статьи, будущее все-таки навѣрное за той, которая литературу спасет.

Остальные — имѣю в виду, разумѣется, лишь настоящих писателей, имена которых не за чѣм перечислять, — пишут мало, отдѣлываются мелочами, документальными очерками или переводами, больше молчат. Едва-ли однако, «бо благоденствуют», как сказал когда-то Кирилл Разумовскій.

Георгій Адамович

Год войны на Дальнем Востока

В результатъ года военных дѣйствій в Китаѣ, для Японіи создается положеніе, полное противорѣчій.

С одной стороны, несомнѣнны значительные военные успѣхи Японіи: ею захвачены главныя артеріи Китая, оккупированы наиболѣе крупныя центры, взяты Пекин и Тяньцзинь, Шанхай и Нанкин, занят Амой и, весьма возможно, будет занят Ханькоу. Вся береговая полоса Китая охвачена блокадой. В корей разрушена хозяйственная жизнь огромных областей, и десятки милліонов населенія превращены в бѣженцев.

С другой стороны, к началу второго года войны, все еще нельзя предвидить, когда и как она может быть закончена. О близкой побѣдѣ не рѣшаются говорить даже в самой Японіи, а то обстоятельство, что в разгарѣ успѣхов пришлось смѣнить нѣсколько раз командующих арміями и флотом, пришлось замѣнить и военного министра, и министра иностр. дѣл, и министра финансов, — вряд